

Вирджиния – Вулф

Миссис Дэллоуэй

Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать; придут от Рампльмайера. И вдобавок, думала Кларисса Дэллоуэй, утро какое – свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже.

Как хорошо! Будто окунаешься! Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в Бортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас, конечно, ранний, утренний воздух; как шлепок волны; шепоток волны; чистый, знобящий и (для восемнадцатилетней девчонки) полный сюрпризов; и она ждала у растворенной двери: что-то вот-вот случится; она смотрела на цветы, деревья, дым оплетал их, вокруг петляли грачи; а она стояла, смотрела, пока Питер Уолш не сказал: «Мечтаете среди овощей?» Так, кажется? «Мне люди нравятся больше капусты». Так, кажется? Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернется из Индии, в июне, в июле, она забыла, когда именно, у него такие скучные письма; это слова его запоминаются; и глаза; перочинный ножик, улыбка, брюзжание и, когда столько вещей безвозвратно ушло – до чего же странно! – кое-какие фразы, например про капусту.

Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. Прелестная женщина, подумал про нее Скруп Певис (он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой в Вестминстере); чем-то, пожалуй, похожа на птичку; на сойку; сине-зеленая, легонькая, живая, хоть ей уже за пятьдесят и после болезни она почти совсем поседела. Не заметив его, очень прямая, она стояла у перехода, и лицо ее чуть напряглось.

Потому что, когда проживешь в Вестминстере – сколько? Уже больше двадцати лет, – даже посреди грохота улицы или проснувшись посреди ночи, да, положительно –ловишь это особенное замирание, неописуемую, томящую тишину (но, может быть, все у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюэнцы) перед самым ударом Биг-Бена. Вот! Гудит. Сперва мелодично – вступление; потом непреложно – час. Свинцовые круги побежали по воздуху. Какие же мы все дураки, думала она, переходя Виктория-стрит. Господи, и за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь

опять; но и самые невозможные пугала, обиженные судьбой, которые сидят у порога, совершенно отпетые, заняты тем же; и потому-то бесспорно, их не берут никакие постановления парламента: они любят жизнь. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест; грохот, клекот, рев автобусов и машин; шарканье ходячих реклам; духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький взвизг аэроплана, – вот что она так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня.

Да, середина июня. Война кончилась, в общем, для всех; правда, миссис Фокскрофт вчера изводилась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит и загородный дом теперь перейдет кузену; и леди Бексборо открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, ее любимца; но война кончилась; кончилась, слава Богу. Июнь. Король с королевой у себя во дворце. И повсюду, хотя еще рань, все звенит, и цокают пони, и стучат крикетные биты; «Лордз»¹, «Аскот»², «Рэниле»³ и всякое такое; они еще одеты синеватым, матовым блеском утра, но день, разгулявшись, их обнажит, и на полях и площадках будут ретивые пони, они тронут копытцами землю, и поскачут, поскачут, поскачут лихие наездники и в веющей кисее хохотуньи-девчонки, которые протанцевали ночь напролет, а сейчас выводят потешных пушистых собачек; и уже сейчас, с утра пораньше, скромно-царственные вдовицы мчат на своих лимузинах по каким-то таинственным делам; а торговцы возятся в витринах, раскладывают подделки и бриллианты, прелестные зеленоватые броши в старинной оправе на соблазн американцам (но не надо транжирить деньги, сгоряча покупать такие вещи Элизабет), а она сама, любя все это нелепой и верной любовью и даже причастная ко всему этому, ибо предки были придворными у Георгов, – сама она тоже сегодня зажжет огни; у нее сегодня прием. А странно, в парке – вдруг – какая тишина; жужжанье; дымка; медленные, довольные утки; важные зобатые аисты; но кто же это шествует, выступая, как ему и положено, на фоне правительственных зданий, держа под мышкой папку с королевским гербом, кто как не Хью Уитбред, старый друг Хью – дивный Хью!

– День добрый, Кларисса! – сказал Хью чуть-чуть чересчур, пожалуй, изысканно, учитывая, что они друзья детства. – Чему обязан?

– Я люблю бродить по Лондону, – сказала миссис Дэллоуэй. – Нет, правда. Больше даже, чем по полям.

А они как раз приехали – увы – из-за докторов. Другие приезжают из-за выставок; из-за оперы; вывозить дочерей; Уитбреды вечно приезжают из-за докторов. Кларисса сто раз навещала Ивлин Уитбред в лечебнице. Неужто Ивлин опять заболела? «Ивлин изрядно расклеилась», – сказал Хью, производя своим ухоженным, мужественным, красивым, превосходно драпированным телом (он всегда был почти чересчур хорошо одет, но, наверно, так надо, раз у него какая-то там должность при дворе) некий маневр – вздувания и сокращения, что ли, – и тем давая понять, что у жены кой-какие неполадки в организме, нет, ничего особенного, но Кларисса Дэллоуэй, старинная подруга, уж сама все поймет, без его подсказок. Ах да, ну конечно, она поняла; какая жалость; и одновременно с вполне сестринской заботой Кларисса странным образом ощутила смутное беспокойство по поводу своей шляпки. Наверное, не совсем подходящая шляпка для утра? Дело в том, что Хью, который уже спешил дальше, изысканно помавая шляпой и уверяя Клариссу, что ей на вид восемнадцать лет и, разумеется, разумеется, он к ней сегодня придет, Ивлин просто настаивает, только он слегка опоздает из-за приема во дворце, ему туда надо отвести одного из мальчишек Джима, – Хью всегда чуть-чуть подавлял ее; она рядом с ним чувствовала себя как школьница; но она к нему очень привязана; во-первых, знакомы целую вечность, и к тому же он, в общем, вполне ничего, хотя Ричарда он доводит чуть не до исступления, ну а Питер Уолш, так тот по сей день ей не может простить благосклонности к Хью.

В Бортоне были бесконечные сцены. Питер бесился. Хью, конечно, никоим образом ему не чета, но уж и не такой он болван, как Питер изображал; не просто разряженный павлин. Когда старушка мать просила его бросить охоту или отвезти ее в Бат⁴, он без слова повиновался; нет, правда же, он совсем не эгоист, а насчет того, что у него нет сердца, нет мозгов, а исключительно одни манеры и воспитание английского джентльмена – так это уж только с самой невыгодной стороны рекомендует милого Питера; да, он умел быть несносным; совершенно невозможным; но как чудно было бродить с ним в такое вот утро.

(Июнь выпятил каждый листок на деревьях. Матери Пимлико кормили грудью младенцев. От флота в Адмиралтейство поступали известия. Арлингтон-стрит и Пиккадилли заряжали воздух парка и заражали горячую, лоснящуюся листву дивным оживлением, которое так любила Кларисса. Танцы, верховая езда – она когда-то любила все это.)

Ведь пусть они сто лет как расстались – она и Питер; она ему вообще не пишет; его письма – сухие, как деревяшки; а на нее все равно вдруг находит: что он сказал бы, если б был сейчас тут? Иной день, иной вид вдруг и вызовут его из прошлого – спокойно, без прежней горечи; наверное, такая награда за то, что когда-то много думал о ком-то; тот приходит к тебе из прошлого в Сент-Джеймский парк в одно прекрасное утро – возьмет и придет. Только Питер – какой бы ни был чудесный день, и трава, и деревья, и вот эта девчушка в розовом, – Питер не замечал ничего вокруг. Сказать ему – и тогда он наденет очки, он посмотрит. Но интересовали его судьбы мира. Вагнер, стихи Поупа, человеческие характеры вообще и ее недостатки в частности. Как он школил ее! Как они ссорились! Она еще выйдет за премьер-министра и будет встречать гостей, стоя на верху лестницы; безупречная хозяйка дома – так он ее называл (она потом плакала у себя в спальне), у нее, он сказал, задатки безупречной хозяйки.

И вот, оказывается, она все еще не успокоилась, идет по Сент-Джеймскому парку, и доказывает себе, и убеждается, что была права, – конечно, права! – что не вышла за него замуж. Потому что в браке должна быть поблажка, должна быть свобода и у людей, изо дня в день живущих под одной крышей; и Ричард ей предоставляет свободу; а она – ему. (Например, где он сегодня? Какой-то комитет. А какой – она же не стала расспрашивать.) А с Питером всем надо было б делиться; он во все бы влезал. И это невыносимо, и когда дошло до той сцены в том садике, около того фонтана, она просто должна была с ним порвать, иначе они бы погибли оба, они бы пропали, бесспорно; хотя не один год у нее в сердце торчала заноза и саднила; а потом этот ужас, в концерте, когда кто-то сказал ей, что он женился на женщине, которую встретил на пароходе по пути в Индию! Никогда она этого не забудет. Холодная, бессердечная, чопорная – хорошо он ее честил. Ей не понять его чувств. Но уж красоты-то в Индии, те, конечно, его понимают. Пустые, смазливые, набитые дуры. И нечего его жалеть. Он вполне счастлив – он уверял, – совершенно счастлив, хотя ничего абсолютно не сделал такого, о чем было столько говорено; взял и загубил свою жизнь; вот что до сих пор ее бесит.

Она дошла до ворот парка. Постояла минутку, поглядела на катившие по Пиккадилли автобусы.

Ни о ком на свете больше не станет она говорить: он такой или этакий. Она

чувствует себя бесконечно юной; одновременно невыразимо древней. Она как нож все проходит насквозь; одновременно она вовне, наблюдает. Вот она смотрит на такси, и всегда ей кажется, что она далеко-далеко на море, одна; у нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день – очень-очень опасное дело. Не то чтоб она считала себя такой уж тонкой или незаурядной. Просто удивительно, как она ухитрилась пройти по жизни с теми крохами познаний, которыми снабдила их фройляйн Дэниелс. Она ведь ничего не знает; ни языков, ни истории; она и книг-то толком уже не читает, разве что мемуары на сон грядущий; и все равно – как это захватывает; все это; скользящие такси; и больше она не станет говорить про Питера, она не станет говорить про самое себя: я такая, я этакая.

Единственный дар ее – чувствовать, почти угадывать людей, думала она, идя дальше. Оставьте ее с кем-нибудь в комнате, и она сразу выгнет спину, как кошка; или она замурлычет. Девоншир-Хаус, Бат-Хаус, особняк с фарфоровым какаду – она их помнит в огнях; и были Сильвия, Фред, Салли Сетон – бездна народа; танцевали всю ночь до утра; уже фургоны тащились на рынок; домой шли через парк. Еще она помнит, как однажды бросила шиллинг в Серпантин⁵. Но подумашь, мало ли кто что помнит; а любит она – вот то, что здесь, сейчас, перед глазами; и какая толстуха в пролетке. И разве важно, спрашивала она себя, приближаясь к Бонд-стрит, разве важно, что когда-то существование ее прекратится; все это останется, а ее уже не будет, нигде. Разве это обидно? Или наоборот – даже утешительно думать, что смерть означает совершенный конец; но каким-то образом, на лондонских улицах, в мчащемся гуле она останется, и Питер останется, они будут жить друг в друге, ведь часть ее – она убеждена – есть в родных деревьях; в доме-уроде, стоящем там, среди них, разбросанном и разваленном, в людях, которых она никогда не встречала, и она туманом лежит меж самыми близкими, и они поднимают ее на ветвях, как деревья, она видела, на ветвях поднимают туман, но как далеко-далеко растекается ее жизнь, она сама. Но о чем это она размечталась, глядя в витрину Хэтчарда? К чему подбирается память? И какой молочный рассвет над полями видится ей сквозь строки распахнутой книги:

Злого зноя не страшисьИ зимы свирепой бурь 6.

За эти последние годы во всех, мужчинах и женщинах, вскрылись источники слез. Слез и горя; смелости и выдержки; замечательного героизма и стойкости. Подумать хотя бы о женщине, которой она особенно

восхищается, – как леди Бексборо открывала базар.

В витрине были «Веселые вылазки Джорока» и «Мистер Спонж»⁷, «Мемуары» миссис Асквит⁸, «Большая охота в Нигерии» – все лежали распахнутые. Бездна книг; но ни одной уж совсем подходящей, чтоб можно понести Ивлин Уитбред в лечебницу. Такой, чтоб ее развлекла и заставила эту неописуемо тощую и крошечную женщину глянуть на Клариссу, когда она войдет, хоть на миг потеплевшими глазами, прежде чем пуститься в вечный разговор о женских болезнях. Как приятно, если радуются, когда ты входишь, подумала Кларисса, и повернула, и пошла обратно к Бонд-стрит, злясь на себя, потому что глупость – делать что-то из сложных каких-то соображений.

Стать бы как Ричард, например, и делать что-то просто так, раз надо, а она, думала Кларисса, ожидая у перехода, вечно делает что-то не просто, чтоб делать, а чтобы понравиться; полный идиотизм, думала она (но вот полицейский поднял руку), никого ведь не проведешь. О, если б начать жизнь сначала! – думала она, ступая на мостовую. Хоть выглядеть бы иначе!

Во-первых, хорошо бы быть смуглой, как леди Бексборо, с кожей, как тисненая юфть, и прекрасными глазами. Хорошо бы, как леди Бексборо, быть медленной, статной; крупной; по-мужски интересоваться политикой; иметь загородный дом; быть царственной; откровенной. У нее же, наоборот, тело узкое, как стручок; до смешного маленькое личико, носатое, птичье. Зато она держится прямо, что правда, то правда; и у нее красивые руки и ноги; и одевается она хорошо, особенно если вспомнить, как она мало на это тратит. Но в последнее время – странно – об этом своем теле (она остановилась полюбоваться на голландскую живопись), этом теле, от которого никуда не денешься, она забывает, просто забывает. И какое-то сверхстранное чувство, будто она невидима; невиданна; неведома, и будто другая выходила замуж, рожала, а она только идет и идет без конца в поразительном шествии вместе со всеми в толпе по Бонд-стрит; некая миссис Дэллоуэй; даже и не Кларисса; а миссис Дэллоуэй, жена Ричарда Дэллоуэя.

Ей страшно нравилась Бонд-стрит; Бонд-стрит ранним утром в июне; флаги веют; магазины; ни помпы, ни мишуры; один-одинешенек рулон твида в магазине, где папа пятьдесят лет подряд заказывал костюмы;

немного жемчуга; семга на льду.

– Вот и все, – сказала она, глядя в рыбную витрину. – Вот и все, – повторила она, задержавшись у магазина перчаток, где до войны можно было купить почти безукоризненные перчатки. А старый дядя Уильям всегда говорил, что леди узнается по туфелькам и перчаткам. Как-то утром, в разгар войны, он повернулся на постели к стене. Он сказал: «С меня хватит». Перчатки и туфельки; она помешана на перчатках; а родной дочери, ее Элизабет, и на туфли и на перчатки с высокой горы наплевать.

Наплевать, наплевать, думала она, идя по Бонд-стрит к цветочному магазину, где она покупала цветы, когда у нее бывал прием. Вообще-то больше всего Элизабет занимает ее песик. Сегодня весь дом варом пропах. Но уж лучше бедняжка Бом, чем мисс Килман; лучше чумка, и вар, и прочее, чем сидеть взаперти в душной спальне с молитвенником! Да чуть ли не что угодно лучше. Но, может быть, это, как Ричард говорит, возрастное, пройдет, все девочки через это проходят. Влюбленность такая. Хотя – зачем же именно в мисс Килман? Которой, конечно, несладко пришлось; и на это надо делать скидку, и Ричард говорит, она очень способная, по складу ума настоящий историк. Но, во всяком случае, они неразлучны. И Элизабет, ее родная дочь, ходит к причастию; а как полагается одеваться, как полагается вести себя с гостями за обедом – это ее нисколько не занимает, и вообще, она замечала, религиозный экстаз делает людей черствыми («идеи» разные – тоже), бесчувственными; мисс Килман, например, в лепешку расшибется во имя русских, будет морить себя голодом во имя австрийцев, а в обычной жизни она сущее бедствие, совершенный чурбан в этом зеленом своем макинтоше. Носит его не снимая; вечно потная; пяти минут не пробудет в комнате, чтоб ты не ощутила, насколько она возвышенна, а ты ничтожна; какая она бедная, а ты богатая; как она живет в трущобах, без подушки, или без кровати, или без одеяла, бог там ее знает без чего, и вся душа ее иссохла от обиды из-за того, что ее из школы уволили во время войны – бедное, озлобленное, убогое создание! Ведь не ее же ненавидишь, а самое понятие, воплощенное в ней, вобравшее, конечно, многое вовсе и не от мисс Килман; ставшее призраком, из тех, с которыми бьешься ночами, которые кровь из тебя сосут и мучат, тираны; а ведь выпади кость иначе, кверху черным, не белым, и она бы мисс Килман даже любила! Но только не на этом свете. Нет уж.

Ну вот, опять, спугнула все-таки злобное чудище! И теперь кончено, уже затрещали сучья, – стук копыт идет по занесенной листьями чаще, непроходимой чаще души; никогда нельзя быть спокойной и радоваться, вечно стережет и готова напасть эта тварь – ненависть; и, особенно после болезни, повадилась причинять боль, и боль отдается в хребте, и радость от красоты, дружбы, от того, что ей хорошо, ее любят и она восхитительно содержит дом, колеблется, шатается, будто и впрямь чудище подкапывается под корень, и вся эта сень довольства оборачивается сплошным эгоизмом. Ох, эта ненависть!

Глупости, глупости, кричало сердце Клариссы, когда она толкала дверь в цветочный магазин Малбери.

Она вошла, легкая, высокая, очень прямая навстречу сиянию на бляшке личика мисс Пим, у которой всегда были красные руки, будто она держала их вместе с цветами в холодной воде.

Тут были: шпорник, душистый горошек, сирень и гвоздики, бездна гвоздик. Были розы; были ирисы. Ох – и она вдыхала земляной, сладкий запах сада, разговаривая с мисс Пим, которая была ей обязана и считала доброй, и она правда была к ней когда-то добра, очень добра, но было заметно, как она в этом году постарела, когда она кивала ирисам, розам, сирени и, прикрыв глаза, впитывала после грохота улицы особенно сказочный запах, изумительную прохладу. И как свежо, когда она снова открыла глаза, глянули на нее розы, будто кружевное белье принесли из прачечной на плетеных поддонах; а как строги и темны гвоздики и как прямо держат головки, а душистый горошек тронут лиловостью, снежностью, бледностью, будто уже вечер, и девочки в кисее вышли срывать душистый горошек, и розы на исходе пышного летнего дня с густо-синим, почти чернеющим небом, с гвоздикой, шпорником, аромом; и будто уже седьмой час, и каждый цветок – сирень, гвоздика, ирисы, розы – сверкает белым, лиловым, оранжевым, огненным и горит отдельным огнем, нежным, четким, на отуманенных клумбах; и какие милые бабочки кружили над вишневым пирогом и сонным уже первоцветом!

И, переходя следом за мисс Пим от одного кувшина к другому, выбирая, «Глупости, глупости!» – говорила она себе все спокойнее, будто яркость, и запах, и красота, и признательность, и доверие мисс Пим несли ее, как волна, и смывали чудище-ненависть, смывали все; и волна несла ее самое,

выше, выше, пока – ой! – на улице бахнул пистолетный выстрел!

– Господи, эти автомобили, – сказала мисс Пим, и бросилась к окну, и тотчас, прижимая к груди душистый горошек, обратила к Клариссе извиняющуюся улыбку, будто эти автомобили, эти шины – всецело ее вина.

Причиной страшного грохота, заставившего миссис Дэллоуэй вздрогнуть, а мисс Пим броситься к окну и потом извиняться, был автомобиль, который врезался в тротуар как раз напротив цветочного магазина Малбери. Перед глазами замерших, конечно, прохожих мелькнуло сверхзначительное лицо на фоне сизой обивки, но тотчас мужская рука проворно задернула штору, после чего остался виден лишь сизый квадратик, не более.

И, однако, сразу же понеслись слухи от середины Бонд-стрит к Оксфорд-стрит, с одной стороны, а с другой – к парфюмерии Аткинсона, понеслись невидно, неслышно, как облако, быстрое, легкое облако над холмами и, как облако, строгостью и тишиной наплывали на лица, за миг до того совершенно рассеянные. Теперь же тайна их коснулась крылом; их призывал голос власти; подле витал дух обожания, с разинутым ртом и завязанными глазами. Никто, однако, не знал, чье на фоне сизой обивки мелькнуло лицо. Принца Уэльского, королевы ли, премьер-министра? Чье лицо? Никто не знал.

Эдгар Дж. Уоткинс, перекинув через руку смотанную проводку, сказал громко, шутя, разумеется:

– Это примерминистера машина.

Септимус Уоррен-Смит, застрявший на тротуаре, услышал его.

Септимус Уоррен-Смит, примерно лет тридцати, бледнолицый, носатый, в желтых ботинках, но в обтрепанном пальтеце и с такой тревогой в карих глазах, что кто на него ни взглянет, сразу тревожился тоже. Мир поднял хлыст; куда падет удар?

Все стало. Гремели моторы, как неровный пульс отдается во всем теле. Солнце невозможно пекло из-за того, что автомобиль застрял у цветочного магазина Малбери; старые дамы в верхнем этаже автобусов распускали черные зонтики; там и сям с веселым щелчком распахивался то зеленый зонтик, то красный. Миссис Дэллоуэй с охапкой душистого горошка в

руках высунула в окно розовое маленькое личико, выражающее недоумение. Все смотрели на автомобиль. Септимус тоже смотрел. Мальчишки прыгивали с велосипедов. Еще и еще машины попадали в затор. А тот автомобиль стоял с затянутыми шторками, и на шторках был странный рисунок, наподобие дерева, думалось Септимусу, и оттого, что все, все стягивалось у него на глазах к единому центру, будто что-то страшное совсем почти вышло уже на поверхность и вот-вот могло взметнуться костром, Септимус сжался от ужаса. Мир дрожал, и качался, и грозил взметнуться костром. Это из-за меня затор, подумал он. На него, наверное, смотрят, пальцами тычут; и неспроста его, значит, придавило, пригвоздило к тротуару? Только зачем?

– Пойдем, Септимус, – говорила его жена, маленькая, большеглазая, с личиком бледным и узким; итальяночка.

Но Лукреция и сама не могла оторвать глаз от автомобиля с деревцами на шторках. Может, это королева? Королева за покупками едет? Шофер что-то открыл, что-то повертел и захлопнул, а потом снова сел на свое место.

– Пошли, – сказала Лукреция.

Но ее муж – ведь они четыре, нет, пять лет уже как женаты – топнул ногой, дернулся и сказал: «Ладно!» – так зло, будто она к нему пристаёт.

Люди заметят; люди увидят. Люди, думала она, разглядывая толпу, уставившуюся на автомобиль; англичане – со своими детишками и лошадками, в своих этих костюмах, которые, кстати, ей нравились; но они теперь стали именно «люди», потому что Септимус сказал: «Я покончу с собой», а такое нельзя говорить. Вдруг услышат! Она разглядывала толпу. «Помогите! Помогите! – хотелось ей крикнуть мальчишкам в мясной лавке и женщинам. – Помогите!» А еще осенью они с Септимусом стояли на набережной Виктории под одним плащом, Септимус читал газету, не слушал, и она выхватила у него газету и расхохоталась в лицо старику, который их видел! А беду вот скрываешь. Надо его утащить в какой-нибудь парк.

– Давай перейдем, – сказала она.

Она имела право на его руку, пусть у него и не осталось никаких чувств. Она, наивная, юная, двадцатичетырехлетняя, ради него покинула родину и

друзей – он не должен ее обижать.

Автомобиль же с затянутыми шторками и загадочной непроницаемостью проследовал к Пиккадилли, по-прежнему под упорными взорами, по-прежнему овеяв лица по обеим сторонам улицы темным ветерком благоговенья – к принцу ли, королеве, премьер-министру, не знал никто. Всего трое и всего-то секунду видели то лицо. Даже и насчет пола возникли уже разногласия. Но определенно – сама слава восседала в автомобиле, и слава за шторками следовала по Бонд-стрит, совсем рядышком с простыми людьми, которым в первый и последний раз в жизни привелось быть бок о бок с величием Англии, символом государства, который смогут опознать любопытные археологи, роясь в наших развалинах и находя только кости, да обручальные кольца вперемешку с прахом, да золотые коронки на несчетных прогнивших зубах, там, где Лондон сейчас, и утро, среда, и толпится народ на Бонд-стрит. Лицо же в автомобиле смогут опознать и тогда.

Вероятно, королева, думала миссис Дэллоуэй, выходя от Малбери с цветами. Да, королева. И на лице ее застыло сверхдостоинное выражение, пока она стояла на солнце возле магазина и автомобиль с затянутыми шторками медленно проплывал мимо. Королева отправляется куда-то в больницу. Королева открывает базар, думала Кларисса.

Шум для такой рани был удивительный. «Лордз», «Аскот», «Херлингем» 9. Да что же это? – удивлялась Кларисса, когда перекрыли движение. Английские буржуа средней руки, сидевшие в профиль к ней во втором этаже автобусов со свертками, зонтиками и – да, в эту жару – в мехах, представляли собой, Кларисса считала, смехотворное, невозможное, бог знает какое, просто непостижимое зрелище. И чтобы королеву задерживали, чтобы королеве не давали проехать! Кларисса застряла по одну сторону Брук-стрит; сэр Джон Бакхэст, старый судья, – по другую, и тот автомобиль был как раз между ними (сэр Джон давным-давно постиг, что похвально, что предосудительно, и ему понравилась хорошо одетая женщина), когда шофер, чуть-чуть наклоняясь вперед, что-то сказал или показал полицейскому, и тот козырнул, поднял руку, тряхнул головой, сдвинул автобус в сторону, и автомобиль тронулся. Медленно, почти бесшумно он двинулся с места.

И Кларисса догадалась; Кларисса все поняла; она разглядела что-то белое,

волшебное, круглое в руке у шофера, диск, с оттиснутым именем – королевы, премьер-министра, принца Уэльского? – прожигающим путь себе собственным блеском (автомобиль делался меньше, меньше, скрывался у Клариссы из глаз), чтоб затмевать сверкание люстр, и звезд, и дубовых листьев, и прочего, и Хью Уитбрета, и цвет английского общества – нынче вечером в Букингемском дворце. И у самой Клариссы тоже сегодня прием. Лицо ее чуть напряглось. Да, она будет сегодня встречать гостей, стоя на верху лестницы.

Автомобиль исчез, но следом легкая рябь побежала по магазинам перчаток и шляпок, по магазинам мужских костюмов вдоль тротуаров Бонд-стрит. На целых тридцать секунд все головы замерли, дружно склонившись в одном направлении – к окнам. Выбирая перчатки – какие взять, до локтя ли, выше ли, лимонные ли, бледно-серые? – на повороте фразы замерли дамы. Нечто произошло. До того пустячное в каждом отдельном случае, что и точнейшему математическому устройству, улавливающему земные толчки даже в далеком Китае, ничего бы тут не отметить; в целом, однако ж, огромное нечто; волнующее; ибо во всех магазинах – мужских ли костюмов, перчаток ли – незнакомые люди посмотрели друг другу в глаза; подумав о мертвых; о флаге; о Великой Британии. В кабаке на задворках какой-то житель колонии недобрый словом задел Виндзоров, что повело к перебранке, а от нее к разбитым пивным кружкам и общей драке; и шум бросился через дорогу и странно ударил в уши девиц, покупавших белое, в белой мережке белье себе к свадьбе. Волнение, оставленное автомобилем сперва на поверхности, постепенно тем самым проникало в глубины.

Автомобиль же пересек Пиккадилли и свернул на Сент-Джеймс-стрит. Рослые господа, осанистые господа, элегантные господа во фраках и белых галстуках, господа с гладко зачесанными волосами и с трудно определимыми целями стоявшие в оконной нише «Уайтса»¹⁰, поддев сзади хвосты своих фраков и глядя на улицу, угадали душой, что мимо скользит слава Англии, и бледный отблеск бессмертия пал на их лица, как пал он на лицо Клариссы Дэллоуэй. Тотчас они стали еще осанистей, руки опустили по швам, и казалось, вот-вот они бросятся на жерла вражеских пушек во имя своего властелина, как некогда делали предки. Белые бюсты и столики в глубине, украшенные номерами «Татлера»¹¹ и бутылками содовой, их точно подкрепляли и одобряли; точно воплощали колыхание нив и раздолье усадеб; точно отдавали жужжание автомобиля, как отдает звучащая галерея одинокий голос, помножив его на гул всей громады собора. Мисс Мол

Прэт, в шали, стоя на панели с цветами, пожелала всего доброго милому мальчику (это же, ясное дело, был принц Уэльский) и даже бросила бы букетик роз на Сент-Джеймс-стрит (а ведь это целая кружка пива!) просто так, от веселости и от презрения к бедности, – если б взор констебля вовремя не унял верноподданного порыва старой ирландки. Часовые Сент-Джеймсского дворца взяли на караул; полицейский у дворца королевы Александры был ими доволен.

Меж тем у ворот Букингемского дворца собралась кучка народа. Все люди бедные, они скучливо, но уверенно ждали; поглядывали на дворец с реющим флагом; на величаво высящуюся Викторию; похваливали ее уступчики и каскады; ее герани; пристально глядя на Мэлл, вдруг изливали чувства на какую-нибудь машину; убедившись, что зря обласкали обывателя за рулем, тотчас брали излитые чувства назад и копили их, пропуская машины одну за другой без внимания; и все время слухи бродили по жилам и отдавались томлением в чреслах при мысли о том, что на них упадет царственный взор; им кивнет королева; им улыбнется принц; при мысли о дивной жизни, свыше дарованной королям; о конюших, о реверансах; о старинном кукольном домике королевы; о том, что принцесса Мэри – на поди! – вышла за какого-то англичанина, а принц – ах, принц! – он, говорили, вылитый старый король Эдуард, только subtilней. Принц жил в Сент-Джеймсском дворце, но почему б ему утром не навеститься к матери?

Это Сара Блечли говорила, баюкая своего малыша и покачивая ногой, будто она у себя в Пимлико у своей каминной решетки, однако не спуская с Мэлла глаз, а Эмили Коутс окидывала взглядом окна дворца и думала про горничных, сколько их там, горничных, думала про комнаты, сколько их там, комнат. Меж тем толпа увеличилась благодаря одному господину со скотч-терьером и несколькими личностями без определенных занятий. У маленького мистера Боули (сам он обитал в Олбани¹², душа же его была опечатана сургучом, но вдруг распечатывалась ужасно некстати от подобных вещей; бедные женщины ждут, когда проедет их королева, бедные-бедные женщины, милые детки-сиротки, вдовы, война – ох, уж эта война!) в глазах просто стояли слезы. Теплый ветер, добродушно пройдясь по легким деревьям Мэлла, мимо бронзовых героев, всколыхнул некий флаг в британской груди мистера Боули, и он поднял шляпу, когда автомобиль свернул на Мэлл, и пока автомобиль приближался, он держал ее высоко над головой, и бедные матери Пимлико беспрепятственно жались

к нему; он стоял очень прямо. Автомобиль подъезжал.

Вдруг миссис Коутс задрала голову. Вой аэроплана зловеще ввинчивался в уши. Вот аэроплан взмыл над деревьями, и он оставлял позади белый дым, и дым этот вился, клубился, он, ей-богу, что-то писал! Выводил по небу буквы! Все задрали головы.

Вот аэроплан упал вниз, взмыл ввысь, он делал петли, он парил, он взмывал, он падал и все время, все время, все время сзади плоеное кружево дыма свивалось, сплеталось, выводило по небу буквы. Но какие же буквы? «Б», что ли? А потом «Р»? Всего на секунду они застывали и сразу расплывались, и таяли, и стирались с неба, и аэроплан летел себе дальше и на новом небесном куске уже снова чертил «Б»... и «Р» и «Ю»...

– Крем, – произнесла миссис Коутс благоговейным, пресекавшимся голосом, устремив глаза вверх, а малыш у нее на руках, белый и тихий, тоже устремлял глаза вверх.

– Мокко, – пробормотала миссис Блечли, как сомнамбула. Недвижно держа шляпу над головой, мистер Боули смотрел в небо. Вдоль всего Мэлла люди стояли и смотрели в небо. Они смотрели, а весь мир словно замер, и небо перечеркнул лет спугнутых чаек, сперва одна предводительствовала, потом другая, и по этой немыслимой тишине, по бледности и чистоте одиннадцать раз ударили колокола, и звон таял, не долетая до чаек.

Аэроплан кружил, качался, выделявал черт-те что, легко, вольно, как конькобежец...

– Это же «и», – сказала миссис Блечли...

или танцор...

– Это же ириски, – пробормотал мистер Боули... (автомобиль въехал в ворота, но никто на него не взглянул), и выталкивал дым, и несясь все дальше, дальше, и дым таял и стал уже оторочкой белых раскидистых облаков.

Исчез. Скрылся за облаками. Ни звука. Облака, на которых висели буквы Р, О или Ю,плыли и плыли, будто посланные с Запада на Восток с чрезвычайно важным известием, каким – никогда не выяснится, но все

равно чрезвычайно важным известием. Потом – вдруг – как поезд вырывается из туннеля, аэроплан выскочил из-за облаков, и снова вой ввинчивался в уши тех, кто стоял на Мэлле, в Грин-Парке, на Пиккадилли, на Риджент-стрит, в Риджентс-Парке, – и сзади вился дым, и аэроплан падал, взмывал и одну за другой выводил буквы – но что за слово он выводил?

Лукреция Уоррен-Смит, сидя рядом с мужем в Риджентс-Парке на Главной аллее, посмотрела вверх.

– Смотри-ка, смотри-ка, Септимус, – вскрикнула она. Доктор Доум ей сказал, чтоб она отвлекала мужа (хоть с ним ничего абсолютно серьезного, просто он немного расклеился), отвлекала внешними впечатлениями.

Ну да, подумал Септимус, глядя вверх, они мне сигналият. Сигналы не выражались в словах, то есть он пока не разбирал языка; но она была достаточно внятна – красота, божественная красота, – и слезы застилали ему глаза, пока он смотрел, как дымные слова истаивают, и расползаются в сини, и в неизреченной своей благодати, по милой своей доброте дарят ему образ за образом невысказанной красоты, и сигналами обещают безвозмездно, навечно – только смотри – снабдить его красотой, еще красотой! Слезы катились у него по щекам.

Да, это ириски. Это реклама ирисок, сказала Реция присевшая рядом няня с ребенком. Они разобрали вместе: «и»... «р»... «и»...

– К... Р... – сказала няня, и Септимус услышал, как у самого уха его «Ка» и «Эр» она вывела низко, нежно, точно спелые органноты, но с хрипотцою, точно стрекот кузнечика, который восхитительно отдался в хребте, послал звуковые волны к мозгу, и там они расплескались. Да, удивительное открытие – что человеческий голос в определенных атмосферных условиях (прежде всего надо рассуждать научно, только научно!) может пробуждать к жизни деревья! Слава богу, Реция страшно прижала ему ладонью колено, придавила к скамье, не то бы от того возбуждения, с каким вязи теперь вздымались и опадали, вздымались и опадали, горя всеми листьями сразу, все окатывая то редущим, то загустевающим цветом от сини до зелени полой волны, будто плюмажи на холках коней, будто перья на шляпках, так гордо, так величаво они вздымались, они опадали, что недолго и спятить. Но не спятит он, дудки.

Надо только закрыть глаза. Не смотреть.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)